

Егор ИСАЕВ

(МОСКВА)



Был бор, большой, вековой, золотистый бор, с белыми березами на опушке. С медведями был, с барсуками, с белочкой, с бурундуками, с белыми боровиками и рыжиком был, с муравьишкой-тружеником, с зайчишкой-нетрусишкой, с избушкой на курьих ножках, с Красной шапочкой и Серым волком... Гудящим был, стонущим, аукающим... Был угрюмым и светлым... Был как целый лесной мир... Был!

И вдруг этого бора не стало — в книгу ушел. Водой, рельсами ушел. Стал миром человеческого воображения, стал словом, книгой стал. И книга, по-видимому, стоит этого. Но только всякая ли — вот вопрос! Добро, когда великое, ценное, став бумагой, через печатное слово сослужит службу еще более великому, еще более ценному, вековое — эпическому, живое и прекрасное в природе — живому и прекрасному в слове, в строке, в абзаце, в книге. Сослужит службу истинно талантливому, прекрасному, доброму.

Но, к сожалению, бывают и такие книги — их, правда, не так-то уж много, — которые не стоят даже печальных пеньков на скорбном месте того размашисто-широкого лесоповала. Так в ней вторично все, так десятикратно даже, что нестерпимо захочется первоисточника — зазря погублен-

ного леса того. Но вторичность и десятичность — это еще полбеда. Полная беда там, где есть только видимость чего-то. Есть некая такая таинственная неясность вокруг некоей такой туманной неопределенности. Это в основном касается некоторой части стихов.

У нас почему-то принято думать — если риторизм, то обязательно восклицательный, под голосовым ударением, значит. Это правда, но только наполовину. Есть еще и шепотный риторизм, риторизм в домашних, стариковских тапочках, с подвялым цветочком в руке. Риторизм по пути от Маяковского, Твардовского, Есенина — куда-то туда, к Надсону, к антикварной лавке, к покосившимся крестам на погосте, к унылым осенним дождям весной, к преждевременному листопаду в июле... Хочу предупредить — это не тот путь. Это даже скорее беспутье, чем путь. Путь нашей поэзии — это путь в жизнь, к беспокойству, страстности, к познанию и созиданию, к человеку деятельному, общительному, бескорыстному. И надо сказать, что в большинстве своем наша большая проза, наша большая поэзия — на этом пути. Тем она и велика, наша всероссийская, многонациональная, многожанровая литература!

А какой у нас великий читатель! Такого читателя, как наш советский народ, я вам скажу, в мире больше нет. И я не оговорился: именно — читатель-народ! Читатель-океан, с бесконечной, глубоко изрезанной береговой линией всевозможных интересов, вкусов, пристрастий. И что важно отметить, он, этот великий океан-читатель, любит нас, своих писателей, не просто дежурной любовью, а глубоко требовательной, взыскательной.

● ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 6-й СТР.

У СЪЕЗД ПИСАТЕ

● ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО
НА 3-й, 4-й, 5-й СТР.

Такая читательская любовь к нам, советским писателям, такой спрос на наши книги кажутся немыслимыми, фантастическими там, на Западе, где, вопреки элементарной логике, вопреки очевидному факту самой такой любви, все громче и громче кричат на весь мир об отсутствии у нас свободы слова, свободы творчества. Но когда спрашивается, за что же нас, таких вот по-ихнему несвободных, так свободно и добровольно близко к сердцу принимают наши читатели? Всем народом, можно сказать, принимают. А ведь как гласит поговорка: в таком щекотливом деле, как любовь, насильно мил не будешь. А против поговорки, как говорится, не попрешь.

Уж если мы действительно в чем-то не свободны, как, скажем, не свободна земля от своего нетягостного для нас земного тяготения, — так это от любви к матери, от любви к Родине, от чувства совести, чести, достоинства, не свободны от своего самого наигуманнейшего коммунистического убеждения, от идеи, вобравшей в себя все самое наилучшее, что выработала в течение веков человеческая цивилизация, не свободны от ленинского власти Советам, земля крестьянам, мир народам, не свободны от борьбы против социальной несправедливости и угнетения, против расового и колониального рабства, не свободны от жажды наискорейшего искоренения в человеке всего нечеловеческого, дикого, черного... И мы не только добровольно служим такой прекрасной несвободе, но и гордимся ею!

И еще. На одной встрече в Англии мне был задан такой

вопрос: а не кажется ли вам, господин Исаев, что ваша литература слишком много говорит о войне, о памяти? Я ответил: нет, не кажется. И в свою очередь спросил спросившего: а вы были на войне? Он колебался, но ответил: нет.

— А в кругу ваших близких родственников, друзей, знакомых много ли убитых, искалеченных, без вести пропавших?

Он еще более колебался, но ответил: мало. И вот тогда я ему сказал при всем замершем зале: а я воевал. И в кругу моих близких родственников, друзей и знакомых — очень и очень много убитых, искалеченных, без вести пропавших — больше половины мужского населения всего нашего воронежского степного села. А в нашем селе до войны было 15 тысяч населения. У нас был один Ковентри, стертый с лица земли фашистами, у нас их таких — полторы тысячи.

Мы выстрадали свою память. И объем и вес этого выстраданного всегда будут определять объем и длительность нашей памяти, длительность разговора о войне.

И еще я сказал тогда: фашизм отучал людей мыслить. Наши враги, враги мира, всячески стараются сейчас отучить нас помнить. Не выйдет, господа!

Мы спорили
О смысле красоты,
И он сказал с наивностью
младенца:

— Я за искусство левое.
А ты?

— За левое...
Но не левее сердца.

С разрешения автора, Василия Федорова, и с вашего, надеюсь, согласия, дорогие товарищи, хочу добавить: и не левее партии, не левее народа! И не правее! А вместе, в одном строю — и в творческом, и в боевом! (Аплодисменты).

ИНТЕРВЬЮ С ЕГОРО ИСАЕВЫМ
- МОСКВА

77 ДЕНЬ 1980